

Глава XVI

ОТ У-2 НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ ДО БОТИНКА НА НЬЮ-ЙОРКСКОМ СТОЛЕ: АПРЕЛЬ — СЕНТЯБРЬ 1960

Рассвет 1 мая 1960 года выдался солнечным и ясным. В 6.00, когда Хрущев еще спал в своей резиденции на Ленинских горах, ему позвонил министр обороны Малиновский и сообщил: американский самолет-разведчик У-2 только что пересек границу СССР с Пакистаном и движется вглубь советской территории.

За завтраком Хрущев выглядел угрюмым, молчал и задумчиво постукивал ложечкой по краю стакана с чаем. Домашние знали, что, когда он в таком настроении, вопросов лучше не задавать: захочет — сам расскажет. Допив чай, он вышел на улицу, где уже ждал лимузин. Обычно по праздникам родные Хрущева ехали вместе с ним на Красную площадь, чтобы, по традиции, установившейся при Сталине, наблюдать за праздничной демонстрацией и парадом с трибун по левую сторону Мавзолея. Однако в тот день им пришлось добираться до центра самим. Хрущев спешил на экстренное заседание Президиума ЦК КПСС.

— Они снова летают над нами, в том же районе, — хмуро объяснил Хрущев сыну, провожавшему его до машины.

— Мы его собьем? — спросил Сергей.

— Глупый вопрос, — отрезал отец. Малиновский клялся, что ракеты и самолеты-перехватчики наготове; однако самолетов было слишком мало, а возможности ракет ограничены. — Все зависит от того, что там происходит.

— Где самолет сейчас? — спросил Сергей.

— Над Тюратамом, — ответил Хрущев. — Но кто знает, куда он повернет дальше. — С этими словами он сел в машину и уехал¹.

Это был не первый американский полет над советской территорией. Разведывательные полеты вдоль советских гра-

ниц начались в 1946-м, а уже с 1952 года американские и британские самолеты не единожды вторгались в советское пространство, залетая далеко вглубь советской территории и фотографируя с воздуха такие города, как Мурманск, Владивосток и Сталинград². 4 июля 1956 года первый самолет-разведчик У-2, стартовав из Висбадена, пролетел над Польшей и Белоруссией, сделал два круга над Москвой, затем ушел на север, в сторону Ленинграда и вновь пересек границу над Прибалтикой. На той же неделе было совершено еще шесть вылетов У-2 — над Центральной Россией и Украиной. После некоторого перерыва в ноябре 1956 года полеты возобновились.

Эйзенхауэр, лично одобрявший каждый разведвылет, понимал, на какой риск идет. Сам он однажды признал, что «ничто не могло привести к объявлению войны так легко, как нарушение нашими ВВС советского воздушного пространства»³. Однако он считал необходимым наблюдать за развитием советских ракетных баз (по поводу которых подвергался резкой критике соперников-демократов, считавших, что республиканское правительство не обеспечивает безопасность США) и полагал, что новые самолеты У-2, летающие на большой высоте, неуязвимы для советских средств противовоздушной обороны. Подбадривало его и то, что после нескольких случаев в 1956 и 1958 годах советское правительство больше не подавало протесты против разведполетов, как будто с ними примирилось.

После встречи с Хрущевым Эйзенхауэр в течение семи месяцев воздерживался от санкционирования разведвылетов, опасаясь помешать грядущему саммиту. Однако ЦРУ настаивало на продолжении программы: разведчики указывали на то, что новые У-2 оборудованы более мощным мотором, позволяющим летать еще выше, и на то, что в Кемп-Дэвиде Хрущев ни словом не упомянул об американском шпионаже — и в конце концов 9 апреля 1960 года Эйзенхауэр дал разрешение на вылет.

Однако Эйзенхауэр глубоко ошибался в оценке намерений Хрущева. Тот вовсе не примирился со шпионажем, и если не упоминал о нем в Кемп-Дэвиде, то лишь для того, чтобы избежать унижения. На самом деле американские самолеты превратились для него в навязчивую идею. В разговорах с сыном он то и дело возвращался к этой теме: Сергею казалось даже, что отец с нетерпением ждет появления нового разведчика, чтобы его сбить. «Таких наглцов надо учить, — говорил Хрущев, — и учить кулаками. Пусть только попробуют еще раз сунуть сюда нос!»⁴

9 апреля 1960 года Хрущев был у себя на даче в Крыму, принимал представителей советского генералитета и руководителей промышленности. В это время У-2 поднялся с аэродрома в Пакистане и устремился на север — в СССР. Он пролетел над сверхсекретным ядерным полигоном близ Семипалатинска, испытательным полигоном противовоздушной обороны в Сары-Шагане, на берегу озера Балхаш, и над ракетным полигоном Тюратам (впоследствии — знаменитый Байконур). Советские ВВС и силы воздушной обороны пытались остановить чужака — однако перехватчик МиГ-19 потерпел крушение, так и не сумев приблизиться к американцу, а пока более совершенные Т-3 получали из Москвы разрешение воспользоваться секретным семипалатинским аэродромом, шпион уже скрылся. Что же касается ракет — в Сары-Шагане не было необходимого оборудования, а ракеты из Тюратама не смогли поразить цель⁵.

После отъезда гостей Хрущев и его сын Сергей в мрачном молчании прогуливались по берегу моря. Сергей спросил, как же шпиону удалось уйти; Хрущев чертыхнулся в ответ. Придется, сказал он, проглотить эту «горькую пилюлю». Протестовать нет смысла: жалобы лишь укрепят самоуверенность империалистов, ибо «слабый жалуется на сильного, а сильный не обращает на него внимания и продолжает свое черное дело»⁶.

Хрущев терялся в догадках, кто санкционировал полет. Конечно, не его «друг» Эйзенхауэр — не мог же он сделать такое накануне саммита, открывающегося в Париже 16 мая! Должно быть, Аллен Даллес в преддверии переговоров решил продемонстрировать Советскому Союзу силу США. Хрущев распорядился сурово наказать нескольких генералов и других офицеров, виновных в нерасторопности, и потребовал у Малиновского, чтобы следующий американский самолет был сбит во что бы то ни стало⁷.

В этом же месяце Эйзенхауэр дал разрешение на еще один полет. Даллес и Ричард Бисселл, курировавший программу У-2 в ЦРУ, настаивали на необходимости сделать свежие фотографии Тюратама, военных заводов близ Свердловска, а также Плесеца, в котором, по сообщениям, готовили к испытаниям первые советские межконтинентальные ракеты. Фотографии необходимо было сделать в течение трех месяцев, пока не изменился угол падения солнечных лучей в северных широтах — иначе все пришлось бы отложить до следующего года. Поколебавшись, Эйзенхауэр дал разрешение на полет до 25 апреля; но помешала погода, и вылет пришлось перенести на 1 мая. Это было опасное ре-

шение. Появление в советском небе шпиона в праздник Первомая скорее всего (как оно и случилось) могло быть воспринято советским руководством как наглое оскорбление, плевок в лицо. Кроме того, впервые У-2 должен был пролететь надо всей территорией СССР. Операция, получившая кодовое название «Большой взлом», включала в себя вылет из Пакистана, пролет над Тюратамом, Свердловском, Плесецом (в тысяче километров к северу от Москвы) и приземление на аэродроме Бодё в Норвегии⁸.

Лимузин Хрущева мчался к Кремлю, а на командном пункте сил ПВО СССР царил паника. Не только Малиновский, но и сам Хрущев подтвердил: еще одна неудача в деле с американскими самолетами-разведчиками — и полетят головы. Однако из-за праздника ПВО находились в состоянии крайне низкой боевой готовности, и похоже было, что катастрофы не избежать.

Когда самолет Фрэнсиса Гэри Пауэрса достиг Свердловска, местное командование распорядилось поднять в воздух единственный высотный перехватчик, случайно оказавшийся на близлежащей базе ВВС Кольцово, куда он прилетел по какому-то другому поводу. Пилот Т-13 капитан Игорь Ментюков в парадной форме стоял на остановке и ждал автобуса; тут к остановке подлетел автомобиль с военными номерами, и его повезли обратно на базу. Ни высотного костюма, ни кислородной маски при нем не было, а сам самолет был лишен какого-либо оружия. На высоте двадцать километров Ментюков почувствовал, что задыхается; однако ему было приказано догнать У-2 и пойти на таран. К счастью для Ментюкова, он так и не смог догнать Пауэрса и вернулся на базу невредимым⁹.

Не столь повезло старшему лейтенанту Сергею Сафронову. Его МиГ-19 был сбит ракетой, предназначенной для Пауэрса. К этому времени и сам У-2 был подбит или, точнее, развалился на части — его разнесла мощная ракета, сдетонировавшая прямо позади него. Однако по показаниям радаров еще несколько минут создавалось впечатление, что полет продолжается: поэтому в Пауэрса было выпущено несколько дополнительных ракет, одна из которых подбила Сафронова¹⁰.

Хотя ЦРУ было убеждено, что при крушении У-2 пилот выжить не может, Пауэрс выбросился с парашютом и благополучно приземлился на территории советского колхоза. Оправившись от изумления, колхозники препроводили его в КГБ. Пленение пилота и его признания должны были стать катастрофой и для Эйзенхауэра, и для Хрущева; однако Эйзенхауэр пока ничего не знал (и узнал только через несколь-

ко дней), а Хрущев, получив это известие, был на вершине блаженства. Он наблюдал демонстрацию на Красной площади (с лозунгами типа «Больше удобрений на поля!» и «Требуем немедленного подписания мирного договора с Германией!»), когда маршал Сергей Бирюзов, командующий ВВС, взшел на трибуну и протиснулся к Хрущеву. На нем не было парадной формы — по этому признаку иностранные дипломаты поняли, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Микрофон перед Хрущевым не уловил всего разговора, однако вся площадь услышала, как Хрущев воскликнул: «Отлично сработано!»¹¹

Вернувшись в тот вечер домой, Хрущев, по рассказу сына, был «необычайно доволен. Наконец-то он чувствовал себя отомщенным». Однако месть была еще не завершена: предстояло скрыть от американцев, что самолет и пилот находятся у него в руках, посмотреть, что за историю они придумают для прикрытия, а затем разоблачить их ложь. Тогда-то, пояснял Сергей, Хрущев оплатит своим мучителям «за все годы унижений»!¹²

Хрущев по-прежнему считал, что ответственность за происшедшее несет не Эйзенхауэр, а бесчестные военные и разведчики. В другое время это бы его встревожило, но сейчас только ободряло. Шпионаж шпионажем, объяснял он сыну, а дипломатия — дело другое, так что долгожданный парижский саммит откроется в назначенное время. Хрущев полагал, что, когда ловушка захлопнется, Эйзенхауэру придется публично извиниться и, возможно, даже примириться с показательным судом над пленным пилотом¹³.

Однако Хрущев перехитрил самого себя: хитро разработанный план обернулся против него самого. Как он признался посетителю-американцу в 1969 году, история с У-2, в сущности, стала для него началом конца. Доктор А. Мак-Гихи Харви приехал в Москву для осмотра дочери Хрущева Елены, страдавшей от коллагеноза. За ужином в доме у Хрущевых (организовать который было не так-то легко — Хрущев жил, в сущности, под домашним арестом) доктор Харви спросил, как Хрущев лишился власти. «Все было хорошо, пока не случилась одна вещь, — ответил Хрущев. — Мы подстрелили над советской территорией Гэри Пауэрса, и после этого все пошло наперекосяк». После этого «те, кто считал, что Америка нам угрожает и что главное в нашем мире — военная сила, получили подтверждение своей правоты, и я не мог более их сдерживать»¹⁴.

Хрущев сказал правду — хотя и не всю, как мы увидим далее.

Чтобы лучше понять масштабы урона, нанесенного международным отношениям происшествием с У-2, необходимо коснуться общего положения в международной политике этого периода.

В западных странах надежды, возбужденные визитом Хрущева в Америку, вскоре угасли, а к апрелю 1960 года эти надежды, по-видимому, не разделял уже и сам Хрущев.

Эйзенхауэр старался сдержать обещание, данное в Кемп-Дэвиде. По словам посла Томпсона, в январе 1960 года «в Кемп-Дэвиде нами было принято решение добиваться согласия наших союзников приложить усилия для разрешения берлинской проблемы»¹⁵. Первоначально Эйзенхауэр назначил саммит на декабрь 1959 года. Президент «спешил», замечает по этому поводу Макмиллан, — но отнюдь не спешили де Голль и Аденауэр. Французский президент не видел после визита советского лидера в США результатов, оправдывающих такую спешку; кроме того, перед четырехсторонней встречей ему нужно было уладить собственные дела. Де Голль стремился к паритету с западными партнерами: перед саммитом он считал необходимым взорвать первую французскую атомную бомбу, организовать поездку Хрущева по Франции, аналогичную поездке по США, а также «предварительную» консультацию с западными партнерами. Если это означало отсрочку до весны — тем лучше, поскольку де Голль не ожидал от саммита ничего, кроме «хора медоточивых заверений в своей доброй воле и уклончивых заявлений, чередуемых с критикой в адрес друг друга и объяснениями, почему каждому из нас нечего бояться»¹⁶.

Аденауэр еще меньше стремился к проведению конференции, в которой ему даже не пришлось бы участвовать. Любое соглашение с Хрущевым, по которому положение Западного Берлина будет изменено, он рассматривал как капитуляцию. В марте западногерманский канцлер так упрямо сопротивлялся всем предложениям США, что Эйзенхауэр (какое-то время он готов был примириться с тем, чтобы сделать Западный Берлин «чем-то вроде вольного города», безопасность которого будет гарантирована США или всеми четырьмя державами) посетовал, что Аденауэр «проявляет признаки дряхлости»¹⁷. Однако и сам Эйзенхауэр, хотя и признавался Макмиллану, что «задержка его угнетает», «не был расположен к новым спорам». Это подтвердило ощущение Макмиллана, что «искренних сторонников саммита только двое — Хрущев и я»¹⁸. Правда, и энтузиазм английского премьер-министра не был совсем безоблачным. Когда в декабре 1959 года де Голль признался Макмиллану, что ожидает приезда Хрущева

«без особой радости», англичанин в ответ пробормотал лишь, что в последнее время Хрущев стал «заметно менее утомителен и общаться с ним теперь приятнее»¹⁹.

В результате глухого сопротивления союзников позиция Вашингтона по вопросу о Берлине постепенно сместилась к той, что была до визита Хрущева. Несколько лучшие перспективы представлял вопрос о запрете ядерных испытаний: хотя предстояло решить разногласия по поводу частоты инспекций, состава контрольных комиссий и использования ядерной энергии в мирных целях, «все предзнаменования по этой проблеме, — замечает Макмиллан, — были благоприятными». В апреле он полагал, что мир стоит «на пороге большого шага вперед»²⁰. Де Голль смотрел на вещи более трезво и «не ожидал от парижской встречи особых результатов»²¹.

Сразу после путешествия в Америку Хрущев был уверен, что и соглашение по Берлину, и запрет ядерных испытаний — дела почти решенные²². Это объясняет предпринятое им новое сокращение вооружений — увольнение из Советской Армии почти 1,2 миллиона человек, в том числе 250 тысяч офицеров. Меморандум, отправленный им в Президиум 8 декабря, лучится оптимизмом и энтузиазмом. «С таким широким выбором ракет, как у нас, и с таким их качеством мы можем буквально потрясти мир!» — заявлял он, забывая о том, что на тот момент у СССР имелись всего четыре межконтинентальные ракеты на ракетодроме в Плесецке. На случай, если «некоторые товарищи» станут возражать против одностороннего сокращения вооружений, Хрущев пояснял, что западные державы теперь окажутся в ловушке: если они не последуют советскому примеру, им придется «выкачивать деньги из бюджета, подрывая национальную экономику», что приведет «к выигрышу для нашего строя». Хрущев мечтал даже о том, чтобы превратить Советскую Армию в своего рода добровольческие силы, служба в которых проходила бы «по территориальному принципу и без отрыва от производства».

Впрочем, тут же Хрущев добавлял, что к этому необходимо идти постепенно. «Конечно, я не могу предвидеть всего», — скромно замечал он. Однако он ожидал, что «в конце января или в феврале» сокращение будет одобрено. Так и случилось: 14 декабря Президиум одобрил это решение, две недели спустя ему дал свое благословение пленум ЦК, а в середине января Хрущев передал предложение о самом масштабном с 1924 года сокращении советских Вооруженных сил на формальное одобрение в Верховный Совет²³. Ни

страны Варшавского договора, ни саму ГДР о согласии, разумеется, не спрашивали. Хрушев признавался послу Томпсону, что «ему пришлось приложить все силы, чтобы убедить в своей правоте советских военных, но теперь все они с ним согласны»²⁴.

На праздновании Нового года в Кремле Томпсон имел случай лично убедиться в радужном настроении Хрущева. Праздник был пышным, как и в прошлом году: были приглашены едва ли не все представители советского истеблишмента и дипломатического корпуса, столы ломились от яств и напитков, сверкала украшениями огромная елка. Около двух часов ночи, когда еще проносились тосты и в центре зала танцевали пары в вечерних костюмах, Хрушев пригласил Томпсона, его жену, французского посла с женой и итальянского коммуниста Луиджи Лонго в соседний зал, поменьше, зато с фонтаном. Он хотел также позвать с собой британского и немецкого послов, однако они уже ушли домой, и вместо них Хрушев пригласил Микояна и Козлова. Праздник продолжался в интимной, подогретой алкоголем атмосфере. Хрушев объявил (как докладывал Томпсон в Вашингтон на следующий день), что «чрезвычайно доволен поездкой в США и просто очарован лично президентом Эйзенхауэром», добавив, что не сомневается «в успешном разрешении наших проблем». «Неоднократно и торжественно» повторив, что «при нынешних ужасных средствах вооружения» война стала бы самоубийством, Хрушев похвастал, что на Францию нацелены тридцать советских ядерных ракет, а на Англию — пятьдесят. «А на США?» — спросила Джейн Томпсон. «А это секрет», — ответил Хрушев. Затем Хрушев снова предупредил, что, если на саммите стороны не придут к соглашению по Германии, он подпишет с ГДР сепаратный договор, который положит конец правам западных держав в Берлине. Козлов и Томпсон несколько раз порывались распрощаться, однако разошлись по домам только к шести утра²⁵.

В тот же вечер Хрушев сделал Томпсонам необычное предложение: пригласил их с детьми и помощника посла Бориса Клоссона, также с супругой и детьми, к себе на дачу на выходные. В пятницу вечером черные лимузины привезли американских дипломатов в Подмоскovie, где охранники катали детей на санках с горки. На следующее утро, в шубе и шапке-ушанке, приехал на дачу сам Хрушев. Программа дня включала катание на арабских скакунах на близлежащем конезаводе («Только выбирайте тех, что поспокойнее», — предупредил Хрушев конюха), а затем — долгий

веселый обед, во время которого Микоян произносил тосты, Аджубей ставил на проигрыватель одну пластинку за другой, Громыко открыто и искренне улыбался (таким Клоссон видел его впервые), а его жена предупреждала американцев, что обед затянется надолго, потому что Хрущев «говорит не умолкая». «Если бы нас сейчас увидел Сталин, — заметил Микоян, — он перевернулся бы в гробу!»²⁶

В таком же приподнятом настроении Хрущев встретил Генри Кэбота Лоджа, посетившего Москву в начале февраля. Советский руководитель попросил передать Эйзенхауэру, что тот сможет побывать в СССР «везде, где захочет», даже на секретных военных объектах, что Хрущев с нетерпением ждет не только его самого, но и его внуков и что прием будет столь дружеским, что службе охраны президента не придется предпринимать никаких мер предосторожности. Когда Лодж выразил сожаление, что визит Хрущева в Лос-Анджелес прошел «не вполне гладко», тот, махнув рукой, ответил, что давно об этом забыл: «Со временем мои воспоминания об этой поездке становятся все приятнее»²⁷.

Несмотря на такой оптимизм, Хрущев не мог не замечать, что реальность мало соответствует его ожиданиям. В последующие три месяца он, очевидно, разрывался между надеждой и беспокойством — это видно по той лихорадочной деятельности, которой он старался занять себя, словно опасаясь оставаться наедине со своими мыслями. «Как будто прорвало плотину, — замечает Сергей Хрущев, описывая бесконечные поездки и встречи отца в эти месяцы. — Он кутился, как белка в колесе»²⁸.

Вскоре после встречи с Лоджем Хрущев в сопровождении сына Сергея, дочерей Юлии и Рады и внуки Юлии отправился в турне по Азии. 11 февраля он прибыл в Индию, 16-го — в Бирму, 18-го — в Индонезию, 2 марта — в Афганистан, а 5 марта вернулся в Москву. Это путешествие должно было укрепить связи СССР с развивающимися странами, однако, учитывая, что три из четырех перечисленных стран он уже посещал пять лет назад, а также то, что расписание Хрущева состояло не столько из переговоров, сколько из приемов и осмотра достопримечательностей, можно сказать, что поездка носила скорее развлекательный характер, а также призвана была укрепить имидж Хрущева как «народного политика», личным обаянием завоевывающего друзей по всему миру.

В конце этого путешествия, когда один западный корреспондент спросил, верны ли слухи, что перед саммитом состоится тайная встреча Хрущева с Эйзенхауэром, тот шутили-

во ответил: «А мы уже встречались. Вчера. Да-да, он прилетал ко мне сюда, в Индонезию, мы хорошо, по-дружески поговорили, а сегодня он улетел домой»²⁹. В этой шутке заключалась доля истины: несомненно, Хрущев хотел бы еще раз встретиться и «хорошо, по-дружески поговорить» с Айком.

Через час после прилета в Москву Хрущев, по своему обыкновению, рассказал о поездке нескольким тысячам москвичей, собравшимся на стадионе в Лужниках. А десять дней спустя улетел на полторы недели во Францию. Можно сказать, что в феврале и марте он, в сущности, почти не был в Москве.

Франция — это, конечно, не Бирма. Де Голль был одним из «большой четверки», и своим союзникам он доставлял не меньше неприятностей, чем Советский Союз. Если бы Хрущеву удалось убедить его занять на предстоящем саммите те же позиции, что у Эйзенхауэра и Макмиллана, Аденауэр оказался бы в изоляции³⁰. Кроме того, де Голль был не только ярким политиком, но и яркой личностью. «Чем-то он привораживал Хрущева, — вспоминает его зять и уточняет далее: — Мне представляется, волевой устойчивостью»³¹. Восхищался Хрущев и другими его качествами. Повторяя мнение Сталина, он оценивал де Голля как «одного из самых умных государственных деятелей в мире, по крайней мере среди буржуазных лидеров». Нравились ему «трезвость ума и воля» де Голля. Французский лидер как-то обронил, что «не нуждается в комментариях Министерства иностранных дел» по внешнеполитическим вопросам. Немного смущали открытого и импульсивного Хрущева «невероятное спокойствие и неторопливость» прославленного француза³².

Де Голль отзывался о своем госте намного сдержаннее, но в целом благожелательно. За исключением «одной довольно бурной речи, — рассказывал он Макмиллану, — господин Хрущев был очень любезен». Он «горд и внимательно следит за тем, какое действие производят его слова» — хотя ему и не всегда удается добиться желаемого эффекта. Хрущев — «человек умный, проницательный, всего добившийся своими силами»; однако, хотя в целом он хорошо разбирается в обсуждаемых проблемах, он «не всегда внимателен к деталям» и «для каждого вопроса выработал определенные формулы, которые повторяет по многу раз»³³.

Сам де Голль вел переговоры в совершенно иной манере. «В вопросах межгосударственных отношений у него проявились оттенки, которые мы не могли объяснить, — вспоминал

позже Хрушев. — Какие-то особенности его личных политических взглядов, которые он не раскрывал публично». Де Голль разделял мнение Хрущева, что объединенная Германия может представлять угрозу («Если такое случится, — пообещал он, — мы будем с вами»), и определенно не был сторонником объединения. Однако для достижения соглашения по Германии, настаивал он, необходимо снизить напряженность, которую давление Хрущева по берлинскому вопросу только повышает. Если мы сумеем достигнуть реального равновесия сил в Европе, продолжал де Голль, «то не будем больше нуждаться в США». Однако, согласно де Голлю, для достижения равновесия Западная Германия должна быть прочно присоединена к западному лагерю — что совершенно не устраивало Хрущева. Вежливо, но достаточно внятно де Голль дал понять, что считает дипломатию Хрущева грубой и неумелой, а в одном случае даже упрекнул его, как ребенка: «Ваш тон в германском вопросе меня удивляет». Хрушев прав в том, продолжал он, что решение германской проблемы без достижения соглашения по Берлину невозможно — однако это не значит, что давление по берлинскому вопросу приведет к подписанию договора с Германией³⁴.

Помимо переговоров с де Голлем, затронувших также вопрос разоружения в Африке, Хрушев совершил турне по Франции. И в Париже, и в провинции его принимали пышно и торжественно, оказывая ему всевозможные знаки уважения. Когда Хрушев узнал, что в провинциях его будут сопровождать местные префекты, помимо всего прочего курирующие полицию, его «слегка покорило»: «Как же так? Нас будет принимать полицейский начальник, и мы потом будем проживать под крылышком у французской полиции? Нет ли тут какого-то ущемления?» Однако лидер французской компартии Морис Торез объяснил ему, что «это считается проявлением внимания со стороны президента. Префект — представитель президента, поэтому он и принимает его гостей»³⁵. И Хрушев успокоился.

В своих речах Хрушев хвастал, что СССР скоро обгонит Запад по всем статьям, однако, помня американский урок, больше не заводил разговоров о том, кто кого похоронит. Его поразили красота Парижа и Лувр, напомнивший ему о том, как еще в тридцатых годах, будучи в Ленинграде, он попытался осмотреть за один день весь Зимний дворец: «Бегло прошел по нему. Это отняло у меня целый день. Потом у выхода я буквально свалился на какую-то скамейку, чтобы передохнуть. Тогда я был молод и крепок, но так утомился...»³⁶ Неприятных моментов было немного. Когда в Реймсе губер-

натор Луи Жакино упомянул об «агрессорах, вторгшихся во Францию», Хрущев поправил его: «Говорите прямо — немцы!» В таких вопросах лучше проявлять терпение и выражаться осторожнее, заметил Жакино. «Иногда я жалею, что у меня не было возможности пройти дипломатическую школу», — с неудовольствием отвечал Хрущев. Однако он, бывший шахтер, предпочитает выражаться «резко, как принято у рабочих, без приглаженных фраз и выражений, за которыми ничего не разберешь». В отличие от своих дипломатичных хозяев, он предпочитает «называть вещи своими именами». Однако «хочу вам заметить, что терпение у меня есть. У меня крепкие нервы. Я умею терпеть, в сущности, я сейчас веду себя очень терпеливо»³⁷. В другой раз, на импровизированной пресс-конференции в поезде из Лилля в Руан, в ответ на острые вопросы корреспондента Си-би-эс Дэниела Шорра Хрущев принялся его распекать: «Пишите свои ядовитые статейки, пока все не начнут плевать вам в лицо... Когда меня бьют по правой щеке, я левую не подставляю — я бью в ответ, да так, чтобы у обидчика голова с плеч покатилась!»³⁸

Хрущев вернулся домой 4 апреля. По воспоминаниям Аджубея, поездка во Францию «вполне могла создать у Хрущева иллюзию полного и блестящего восхождения к мировому признанию» и вызвать «самоупоеение успехами», которое уже начало тревожить некоторых из его ближайшего окружения³⁹. Однако на этот раз Хрущев проявил удивительную выдержку — обратился к народу не сразу по приезде, а только на следующий день, причем признал, что перед этим провел бессонную ночь, размышляя о том, «как я представил нашу великую страну и сумел ли достойно выразить и защитить интересы советского народа»⁴⁰.

Тем временем в СССР нарастало тщательно подавляемое беспокойство. Январское сокращение армии вызвало глубокое недовольство среди военных, и теперь это недовольство начали разделять все более широкие партийные и правительственные круги. Из-за рубежа приходили сообщения, что Аденауэр протестует против любых западных уступок по германскому вопросу и что США снова склоняются к мысли обеспечить его ядерным оружием. Посол Меншиков предупреждал из Вашингтона, что позиция Соединенных Штатов колеблется. Кроме того, «консерваторы» опасались, что политика Хрущева в отношении США посеет раздор с Китаем и, хуже того, возбудит прозападные симпатии в самом СССР. Последнее начало беспокоить и самого Хрущева. «Не

внушаем ли мы избыточные надежды всем этим людям? — говорил он одному из своих помощников. — А что, если нам не удастся... добиться такой разрядки, которая позволит значительно поднять жизненный уровень народа?»⁴¹

Члены Президиума разделяли эти опасения. В январе 1960 года Брежнев, как сообщают, задавал Хрущеву вопросы по поводу сокращения войск⁴². На заседании Президиума 7 апреля в отношении политики Хрущева высказывались критические замечания. Стоит вспомнить, как боялись члены Президиума противоречить своему главе, чтобы понять: свои опасения они выразили в общих, обтекаемых фразах, так что он не мог их не разделять. Еще более усилились общие опасения после появления самолета-шпиона 9 апреля, а также после двух сделанных в апреле заявлений американской администрации. И госсекретарь Гертер (4 апреля), и его заместитель Дуглас Диллон (20 апреля) вернулись к докемп-дэвидской риторике по вопросу о Западном Берлине (разговоры об «освобождении» Западного Берлина абсурдны — он и так свободен), а также предупредили, что Хрущев «ступает по тонкому льду» и что от предстоящего саммита не стоит ожидать «серьезного прогресса»⁴³. В довершение к этому, 22 апреля Мао опубликовал статью под названием «Да здравствует ленинизм!», в которой обвинял Москву в заигрывании с Эйзенхауэром и предательстве дела коммунизма. На случай, если Хрущев этого не заметил, китайская политическая газета «Жэньминь жибао» перечислила тридцать семь агрессивных действий США после Кемп-Дэвида, заключив: «Мы не видим коренных перемен ни в военной политике империалистов в целом, ни в позиции Эйзенхауэра»⁴⁴.

25 апреля тон Хрущева изменился. Выступая в Баку, он внезапно начал подчеркивать препятствия к достижению соглашения и выразил лишь слабую надежду, что по окончании переговоров на совещании в верхах и отъезда участников совещания из Парижа «отношения между представленными странами будут лучше, чем они были до этого, а не наоборот»⁴⁵. «По-видимому, — писал позже Трояновский, — происходила смена настроений, довольно типичная для Никиты Сергеевича, когда эйфория постепенно уступала место более трезвому взгляду на вещи»⁴⁶.

Оглядываясь назад, бывший работник ЦК Федор Бурлацкий, ветеран-американист Георгий Арбатов и консультант «пресс-группы» Хрущева Мэлор Стуруа полагают, что он использовал неудачный полет У-2 как предлог для срыва

саммита, понимая, что тот не ответит его ожиданиям. Однако те, кто стоял ближе к Хрущеву, это отрицают. Вечером 1 мая, разговаривая с Трояновским, Хрущев еще не сомневался, что Эйзенхауэр спасет саммит, объявив, что ничего не знал о разведвылете, и возложив вину на других. Возможно, президент даже принесет извинения, — и тогда Хрущев на саммите окажется в выгодном положении. По рассказу его сына, Хрущев мечтал загнать Белый дом в ловушку и «наслаждался игрой», хотя и не вполне представлял, к чему она должна привести⁴⁷.

Вашингтон в этой ситуации держался не лучшим образом. Ему следовало бы молчать — или тщательно составить свою версию и придерживаться ее; вместо этого администрация Эйзенхауэра выдала неуклюжую ложь, от которой сама же потом отказалась. 3 мая, когда в ЦРУ узнали, что (как осторожно выразился заместитель Даллеса Роберт Эмори) «одна из наших машин потерпела крушение», НАСА выступило с заранее подготовленной сказкой о том, что один из самолетов якобы проводил метеорологические исследования над Турцией и потерпел катастрофу в восточной части страны⁴⁸. Это была очевидная ложь, однако Эйзенхауэр полагал, что Хрущев закроет на нее глаза, как закрывал глаза на прежние вторжения в советское воздушное пространство. Даже если русские сбили самолет, рассуждал президент, нет сомнения, что пилот погиб. Хрущев пока молчал — хотя в тот же день в Москве поразил египетскую делегацию свирепым антиамериканским выступлением⁴⁹.

Утром пятого мая, в четверг, Хрущеву предстояло держать речь перед Верховным Советом. Поначалу ничто не предвещало беды. Посол США Томпсон не подозревал, зачем Громыко пригласил его посетить заседание и, мало того, сесть в первом ряду дипломатической галереи; американская журналистка Присцилла Джонсон была так очарована дружелюбной атмосферой в кулуарах, что пересела к восточноевропейским коммунистическим журналистам. Первая часть речи Хрущева была посвящена внутригосударственной программе, в которой отразились тенденции разрядки: он говорил о приоритете потребительских товаров, о сокращении рабочей недели, об отмене с 1965 года некоторых налогов. И вдруг, посреди долгой и скучной речи, сообщил о злосчастном У-2 (но не о судьбе пилота), который, по его словам, поставил всю программу под угрозу⁵⁰. Американский дипломат Владимир Туманов, сидевший рядом с Томпсоном, хорошо запомнил этот момент: день был пасмурный, зал плохо освещен, и лицо Хрущева казалось

серым и мрачным; но, когда он заговорил о самолете, лучи солнца внезапно пробились сквозь облака и озарили его оживленное лицо⁵¹.

Его откровения превратили зал заседаний в настоящий сумасшедший дом. Под аккомпанемент свистков и гневных возгласов Хрущев клеймил двуличие Америки. Несомненно, говорил он, американцы отправили шпиона, чтобы «нажать на нас», попытаться «запугать», «согнуть наши колени и нашу спину путем нажима»⁵². Но затем он объяснил, как Эйзенхауэр может спасти саммит: если «этот акт агрессии был произведен милитаристами из Пентагона без ведома президента», Хрущев поедет в Париж «с чистым сердцем и добрыми намерениями» и не пожалеет усилий, чтобы достичь «соглашения, удовлетворяющего обе стороны». Эти слова, как подметила Присцилла Джонсон, он произнес «низким, хриплым, усталым голосом»⁵³.

В тот же вечер на дипломатическом приеме в посольстве Эфиопии заместитель министра иностранных дел Яков Малик допустил большой промах. В ответ на вопрос шведского посла, к какой статье хартии ООН намерен СССР отнести это происшествие, Малик ответил: «Точно не знаю, мы еще не кончили допрашивать пилота». Эту реплику услышал Льюэллин Томпсон: он немедленно бросился к себе в посольство и отправил в Вашингтон сверхсрочную телеграмму. Она прибыла через четыре минуты после того, как пресс-секретарь НАСА официально заявил, что самолет, сбитый над территорией СССР, — очевидно, тот самый, что проводил метеорологические исследования в Турции и пропал со связи в воскресенье. Приди телеграмма на несколько минут раньше — и США удалось бы если не избежать катастрофы, то по крайней мере несколько смягчить удар.

Промех Малика сыграл Хрущеву на руку⁵⁴. Вновь собралось заседание Верховного Совета. Сперва Хрущев пересказал во всех деталях историю, сочиненную НАСА, а затем, с улыбкой и «конспиративно» понизив голос, объявил: «Товарищи, я должен вам рассказать один секрет. Когда я доклад делал, то умышленно не сказал, что летчик жив и здоров, а части самолета находятся у нас. (Смех. *Продолжительные аплодисменты.*) Это мы сделали сознательно, потому что, если бы мы все сообщили сразу, тогда американцы сочинили бы другую версию. (Смех в зале. *Аплодисменты.*)»⁵⁵

И дальше торжествующий Хрущев, как говорится, отыгрался на американцах по полной программе. Фотографии с У-2, попавшие в руки советских чекистов, великолепны, однако «должен сказать, что наши фотоаппараты лучше дела-

ют снимки, более четкие...(*Смех в зале.*)». Пилот, Пауэрс, в случае провала должен был покончить с собой, уколовшись отравленной булавкой. «Вот какое варварство! (*Шум в зале. Возгласы: «Позор!»*) Вот этот инструмент, последнее достижение американской техники для убийства своих же людей. (*Хрущев показывает снимок отравленной ядом булавки.*)» При обыске у Пауэрса обнаружили семьдесят пять советских сто-рублевых. Может быть, он летел «обменять старые рубли на новые деньги? (*Взрыв смеха. Бурные аплодисменты.*)» Кроме собственных наручных часов, Пауэрс имел при себе две пары золотых часов и семь женских золотых колец. «Зачем все это нужно было ему в верхних слоях атмосферы? (*Смех в зале. Аплодисменты.*) Или, может быть, летчик должен был лететь еще выше — на Марс и там собирался соблазнять марсианок? (*Смех в зале. Аплодисменты.*)»

Впрочем, даже жестоко высмеивая американцев, Хрущев оставлял Эйзенхауэру пространство для маневра — он по-прежнему готов был выслушать признание, что президент «ничего не знал об этом инциденте». Однако такое признание могло обернуться для Эйзенхауэра еще большим унижением — ведь это означало бы, что он не хозяин в собственной стране и не имеет понятия о важных операциях собственных спецслужб. В данном случае Хрущев действовал вполне разумно: как замечал позже Трояновский, «если бы он [Хрущев] не отреагировал достаточно жестко, ястребы в Москве и Пекине использовали бы этот инцидент — и не без основания — как доказательство того, что во главе Советского Союза стоит лидер, готовый снести любое оскорбление со стороны Вашингтона»⁵⁶.

В секретной телеграмме на имя госсекретаря США, отправленной вечером 7 мая, посол Томпсон предостерегал президента от признания, что вылеты совершались с его ведома⁵⁷. Однако на следующий день Эйзенхауэр приказал своим помощникам признать его участие, заявив, что разведка была необходима для предотвращения внезапного удара со стороны СССР, и отрицать только, что он знал о сроках и маршрутах конкретных вылетов — в том числе злосчастного вылета 1 мая⁵⁸.

Хрущев не облегчал Эйзенхауэру задачу — 9 мая он продолжил насмешки над американцами. На приеме в чехословацком посольстве он заявил, что американский Госдепартамент оказался в сложном положении: «нельзя, говорят, признаться, нельзя и отказаться. Получается как в известном анекдоте: вроде девица, но и не девица — ребенок есть. (*Смех, аплодисменты.*) Что же это за государство, если воен-

щина делает то, против чего правительство?... Да если бы у нас кто-либо из военных позволил себе такое, мы бы его взяли за ушко, да и на солнышко. (*Веселое оживление.*)»⁵⁹ Однако тут же он объявил о предстоящем новом (после января 1960 года) сокращении Вооруженных сил и даже пошутил над сопротивлением советских военных. «Вон товарищ Жадов чешет затылок — опять, мол, сокращение. (*Веселое оживление.*) Нет, это не сейчас будет, товарищ генерал, а позднее... (*Веселое оживление, смех.*)»

На этом приеме советские генералы, обычно крайне редко разговаривавшие с Томпсоном, намекнули ему, что Хрущев «ввязался в опасную игру и сильно рискует»⁶⁰. Да и сам Хрущев понимал, что разразившийся кризис угрожает не только положению Эйзенхауэра, но и его собственному. «Мне нужно с вами поговорить, — улучив момент, шепнул он Томпсону. — Эта история с У-2 и меня поставила в ужасное положение. Вы должны помочь мне из него выбраться»⁶¹.

Томпсон обещал попытаться — но, увы, было слишком поздно. В тот же день пресс-секретарь Госдепартамента Линкольн Уайт сделал четвертое за пять дней заявление по поводу У-2, в котором признал, что вылет был «санкционирован президентом». Хуже того — в заявлении не отрицалась возможность повторения подобных вылетов в будущем. Эйзенхауэр решил дать такие пояснения на случай, если Хрущев будет настаивать на отказе США от таких вылетов впредь как на условии своего участия в саммите⁶².

Прочтя это заявление, вспоминает его сын, Хрущев «просто вскипел. Если они хотели вывести его из себя, то своего добились»⁶³. Это было «предательство со стороны генерала Эйзенхауэра, человека, которого он называл своим другом, с которым совсем недавно сидел за одним столом... предательство, поразившее его в самое сердце. Он так никогда и не простил Эйзенхауэру этого самолета»⁶⁴.

Сам Хрущев описывал ситуацию так: «Президент сам лишил себя возможности выгородиться из пикантной истории перед встречей в Париже... Теперь мы не щадили и президента, потому что он сам подставил свой зад, и мы раздавали американцам пинки, сколько угодно и как только возможно»⁶⁵. Однако и в пылу гнева Хрущев продолжал готовиться к саммиту — отчасти стремясь переложить бремя его отмены на Запад, отчасти надеясь унижить своих мучителей на грандиозной парижской сцене, но отчасти и потому, что отмена саммита стала бы провалом политики, которую он проводил уже несколько лет.

10 мая в парке Горького открылась необычная выставка: в том же павильоне, где во время войны демонстрировались трофейное оружие и снаряжение немцев, теперь показывали обломки У-2 и личные вещи Пауэрса, в том числе пресловутые золотые часы, деньги для подкупа русских и неиспользованную отравленную иглу. С утра на выставку повалили толпы любопытных. В 16.00 охранники очистили зал: в павильон явился сам Хрущев. Вслед за ним вошли несколько сотен журналистов, только что «подготовленных» на брифинге министром иностранных дел Громыко, и началась «импровизированная» пресс-конференция, во время которой Хрущев стоял на стуле, чтобы его видели и слышали все.

Хрущев сообщил, что известие о прямом участии президента в подготовке шпионских вылетов его «потрясло»: «Бесстыдство, просто бесстыдство!» Ему это напомнило разбойников, которые в дни его юности в Юзовке грабили беззащитных прохожих. «Но мы — не беззащитные прохожие. Наша страна сильна и могуча». По словам Присциллы Джонсон, основным чувством, звучавшим в речи Хрущева, был не гнев, не презрение и не насмешка, а «разочарование и сожаление о порушенной дружбе». Когда Хрущева спросили, что теперь будет с запланированным визитом Эйзенхауэра в СССР, он задумался и молчал целых полминуты. «Что я могу сказать? — ответил он наконец. — Поставьте себя на мое место и ответьте за меня... Я человек, и у меня есть человеческие чувства». Несмотря на это, ни саммит, ни визит Эйзенхауэра не отменялись; Хрущев гарантировал, что приложит все усилия, чтобы «вернуть международные отношения на нормальные рельсы», и просил журналистов не писать ничего такого, что могло бы привести к усилению напряженности⁶⁶. Присцилле Джонсон показалось, что Хрущев ведет диалог с самим собой, «как бы стараясь отговорить себя от участия в саммите»⁶⁷. По впечатлению Трояновского, Хрущев «сам не мог определиться в этом вопросе»⁶⁸.

12 мая на заседании Президиума некоторые его члены предлагали отменить саммит, однако Хрущев продолжал надеяться, что Эйзенхауэр в последнюю минуту сделает какой-либо жест примирения, который позволит встрече состояться. Он даже говорил сыну, что мог бы прилететь во Францию на день-два раньше намеченного срока, чтобы дать президенту возможность встретиться и помириться с ним лично⁶⁹. Накануне отъезда, во время долгой прогулки по даче, Хрущев вспоминал поездку в Геттисберг, на ферму

Эйзенхауэра. Обязательно, говорил он, надо будет привезти президента сюда, показать ему, как колосится пшеница на полях соседних колхозов, покатать на моторке по Москве-реке. И все же мысль о том, что сделали американцы, не оставляла Хрущева в покое. «Тот факт, что перед самой встречей был сбит У-2, постоянно присутствовал в моем сознании, — вспоминал он в своих мемуарах. — Я убеждался, что мы можем выглядеть несолидно: нам преподнесли такую пилюлю, а мы сделаем вид, что ничего не понимаем и идем на совещание, как будто ничего не произошло?»⁷⁰

Хрущев утверждает, что уже на пути в Париж принял решение сорвать саммит. Скорее, как нам кажется, решение было принято перед отлетом из аэропорта «Внуково-2». Хрущев, Громыко, Малиновский и другие члены делегации заняли свои места в самолете. (В общей сложности в Париж летели двадцать один советник, пять разведчиков, восемь переводчиков, пять шифровальщиков, десять стенографистов, четыре специалиста по коммуникациям, четыре водителя, двадцать восемь телохранителей и других членов обслуживающего персонала, в том числе специалисты по финансам и врачи.) Делегацию провожали члены Президиума — сперва в стеклянном павильоне, затем под крылом самолета. Вскоре после взлета Хрущев сообщил своей свите, чего намерен потребовать от президента: пусть Эйзенхауэр извинится, накажет виновных и пообещает никогда больше такого не повторять. Скорее всего, продолжал Хрущев, президент сочтет такие условия невозможными, так что саммит окончится, едва начавшись. «Это достойно сожаления, — добавил он, — но у нас нет выбора. Полеты У-2 — это не только циничное нарушение международного законодательства, но и грубое оскорбление Советского Союза».

Трояновский слушал молча: сердце у него сжималось при мысли о возвращении к худшим временам холодной войны. В советском посольстве на улице Гренель в Париже обычно невозмутимый заместитель министра иностранных дел Валериан Зорин мерил шагами холл, бормоча себе под нос: «Ну и ситуэйшен!» Единственный, кому план Хрущева пришелся по душе, по словам Трояновского, был министр обороны Малиновский. По его насупленному виду во время саммита западные наблюдатели даже сделали вывод, что он был отправлен с Хрущевым как представитель «жесткой линии», дабы проследить, чтобы Хрущев не проявил излишнюю мягкость. Согласно Трояновскому, об этом беспокоиться не приходилось. Страшиться следовало другого — что Хрущев проявит излишнюю резкость. Уже в Париже, когда Громыко

упомянул в разговоре об увечье госсекретаря США Гертера, передвигавшегося на костылях, Хрущев громко проворчал: «А что, если при случае сказать: бог шельму метит?» — и Громыко, и Трояновский, ужаснувшись, принялись упрашивать Хрущева, чтобы он не вздумал сказать это Гертеру в лицо⁷¹.

14 мая, когда самолет советской делегации приземлился в аэропорту Орли, Хрущев был крайне взвинчен: «Мы были напичканы аргументами взрывного характера... К нам нельзя было притронуться: тут же проскакивала искра. Таково было тогда наше состояние»⁷².

Хрущев, как и намеревался, прилетел на день раньше, чтобы дать Эйзенхауэру время для примирения — однако сразу же ясно дал понять, что примирение едва ли возможно. Советскую делегацию поселили в бывшем королевском охотничьем домике, теперь приспособленном под дипломатическую резиденцию. После утренней прогулки, на которой он «помог» какому-то французскому крестьянину сгребать сено вилами, Хрущев принял телефонный звонок от де Голля. Пятиминутный формальный обмен любезностями — обычная дань вежливости — превратился в то, что де Голль позднее назвал «настоящей сценой». Хрущев сообщил французскому президенту о своем ультиматуме Эйзенхауэр. На замечание де Голля, что сама история с У-2 ясно свидетельствует о необходимости провести саммит, последовал «поток гневных возражений». Нынешний Хрущев совсем не походил на человека, с которым де Голль встречался в марте: «раньше я думал, что такие перемены случаются только в русских романах», — заметил позже французский президент⁷³.

В тот же день при встрече с Макмилланом Хрущев был несколько более «сговорчив» — однако смысл его слов не изменился. Зачитав заранее подготовленное заявление — то же, что уже слышал де Голль, — он «разразился речью, полной самых резких выражений в адрес США, Эйзенхауэра, Пентагона, а также реакционных и империалистических сил вообще». По ходу дела заметил, что Макмиллан — «аристократического происхождения», а он, Хрущев — «по происхождению простой шахтер». В молодости ему случалось «ловить воробьев, и эти птицы клевали его в ладонь»; однако советский народ — «не воробьи, они достаточно сильны, чтобы нанести сокрушительный удар по каждому, кто попытается развязать войну». Эйзенхауэр в Кемп-Дэвиде называл Хрущева своим «другом», даже научил его этому слову по-английски; и вот теперь, говорил Хрущев, «его *френд* (он

снова и снова с горечью повторял это слово), его друг Эйзенхауэр его предал»⁷⁴.

Западные державы на сетования Хрущева реагировали поразному. Если Хрущев сорвет саммит, заявил де Голль, «Франции придется подчиниться неизбежному»; в конце концов, не она «так долго добивалась созыва этой конференции». Эйзенхауэр был разгневан, однако еще искал способ спасти саммит. Макмиллан, как всегда, готов был примкнуть к большинству, хотя и замечал, что «стать городом Объединенных наций — не такая уж ужасная судьба для Берлина»⁷⁵.

В понедельник 16 мая Хрущев и его делегация первыми прибыли в Елисейский дворец. Де Голль провел их по широкой мраморной лестнице в просторный зал с высоким потолком и зелеными стенами, окна которого выходили в сад. Посреди зала стояли, образуя квадрат, несколько столов. Вскоре появилась британская делегация; Хрущев и Макмиллан пожали друг другу руки. Эйзенхауэру Хрущев руки не подал⁷⁶.

Четыре делегации сели за стол: французы и американцы сидели друг напротив друга, по правую руку от американцев — русские, напротив них — англичане. «Мы собрались здесь на конференцию четырех держав, — заговорил де Голль, призвав собрание к порядку. — Вчера я получил от одного из участников, господина Хрущева, заявление, которое устно передал другим участникам, президенту Эйзенхауэру и господину Макмиллану. Хочет ли кто-нибудь что-нибудь сказать по этому поводу?»

Господин Хрущев заверил, что хочет. То же желание высказал и президент Эйзенхауэр. Де Голль предложил, чтобы Эйзенхауэр как глава государства и одновременно глава правительства говорил первым. Хрущев сердито возразил, что все руководители делегаций имеют равные права и что он попросил слова первым. Де Голль поднял брови и вопросительно взглянул на Эйзенхауэра; тот угрюмо кивнул.

Хрущев снова встал и, как позже рассказывал Макмиллан, «с жестикуляцией, как у мистера Микобера», извлек «из кармана толстую пачку отпечатанных на машинке листов бумаги» и принялся «поливать Айку (как Микобер Урию Гипа*) смесью из официальных заявлений, саркастических замечаний и откровенных оскорблений»⁷⁷.

Советский руководитель зачитывал свою речь около сорока пяти минут (включая перевод). «Именно зачитал, —

* Персонажи романа Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим». — *Прим. ред.*

вспоминал он позднее, — потому что в таких случаях никакое вольное изложение недопустимо. При вольном изложении могут появиться лишние слова, не так построятся фразы, все это будет зафиксировано, а потом трудно исправить. Если допустить лишнее слово, тем более лишнюю фразу, появится возможность иного толкования текста — в пользу наших противников»⁷⁸.

Говорил он громко, изредка останавливаясь, чтобы отхлебнуть воды; левая бровь у него подергивалась, руки дрожали⁷⁹. Поскольку президент Эйзенхауэр отказался осудить вылет У-2 и дал понять, что подобные полеты будут продолжаться, заявил Хрущев, советская делегация не может принимать участия в конференции и предлагает отложить ее «приблизительно на шесть — восемь месяцев» — то есть (хотя прямо об этом и не говорилось) на срок, в течение которого в Белом доме сменится хозяин. Визит президента в СССР, разумеется, тоже откладывается на неопределенный срок⁸⁰.

Увлечшись, Хрущев говорил все громче. В какой-то момент де Голль заметил: «В этом зале прекрасная акустика. Мы все слышим господина председателя. Ему нет нужды повышать голос». Хрущев бросил на него сердитый взгляд поверх очков, но снизил тон. Американскому переводчику Вернону Уолтерсу показалось, что советский лидер «накручивает себя до умоисступления». К окончанию речи, писал позже сам Хрущев, «настроение у меня было боевое, наступательное и приподнятое, хотя я знал, что США не согласятся на горькую пилюлю, которую мы приготовили и ставляем их проглотить»⁸¹.

Чем дальше говорил Хрущев, тем сильнее багровел Эйзенхауэр. Однако его ответная речь прозвучала довольно сдержанно. Хотя Соединенные Штаты «не могут снять с себя ответственность за обеспечение безопасности страны в случае неожиданного нападения», разведывательные полеты «после этого инцидента были прекращены, и возобновлять их мы не намерены». Американская делегация готова продолжать конференцию. Кроме того, президент готов «в ходе конференции провести двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и СССР»⁸².

Макмиллан, совершенно убитый, принялся уговаривать коллег вспомнить французскую поговорку: «Что отложено — считай, потеряно». Де Голль, выслушавший речь Хрущева со скучающим видом, снова принялся выговаривать советскому руководителю, словно проштрафившемуся подростку: «После того как вы подбили самолет и до того как вы вылетели из Москвы, я поручил своему послу спросить у

вас, не считаете ли вы нужным отложить встречу. На тот момент вы знали все, что знаете и сейчас. Вы сказали моему послу, что откладывать конференцию не следует и что, на ваш взгляд, она будет полезна... Ради вас господин Макмиллан прилетел сюда из Лондона, а генерал Эйзенхауэр — из США, ради вас я взял на себя труд организации и проведения этой конференции, которая, как теперь выясняется, может быть сорвана по вашей вине...»⁸³

Далее он упрекнул Хрущева за то, что тот поднимает такой шум из-за какого-то самолета, когда «не далее как вчера советский спутник, запущенный перед самым вашим отлетом из Москвы, чтобы произвести на нас впечатление, пересек небо над Францией без моего позволения восемнадцать раз. Откуда мне знать, что на борту у него нет камер?»

— Видит бог, — отвечал на это атеист Хрущев, — мои руки чисты.

— Вот как? Тогда как же вы добыли фотографии обратной стороны Луны, которые с такой законной гордостью нам показывали?

— На том спутнике были камеры.

— Ах, на том были!

После этого обмена репликами руки у Хрущева начали дрожать еще сильнее. В какой-то момент он обратился напрямую к Эйзенхауэру: «Не знаю, стоит ли употреблять это выражение, но мы не понимаем, какой дьявол вас втянул в эту провокацию прямо накануне конференции. Не будь этого, мы бы приехали сюда в самой дружеской атмосфере... Бог мне свидетель, я собирался сюда с чистыми руками и чистой душой».

Хрущев позволил себе выразить частичную удовлетворенность тем, что Эйзенхауэр отказался от разведвылетов в будущем. Однако, когда де Голль предложил не публиковать заявления, сделанные на этом заседании, чтобы сохранить рабочую атмосферу саммита, Хрущев с этим не согласился. Если он не опубликует свое заявление, «общественное мнение» СССР может решить, что «США поставили Советский Союз на колени», заставив вести с ними переговоры «перед лицом угрозы». Угроза и оскорбление стали известны всему миру — значит, мир должен узнать, что Хрущев приехал в Париж «не пощады у НАТО просить».

Де Голль не видел иного выхода, кроме как закончить встречу. Когда Макмиллан попытался предложить расписание на «следующее заседание», Хрущев его поправил: «Это не начало саммита. Саммит еще не начался. Мы рассматриваем эту встречу как предварительную»⁸⁴.

— С меня хватит! Я сыт по горло! — восклицал Эйзенхауэр, вернувшись в резиденцию американского посла в Париже. Этот «сукин сын» Хрущев просто старается произвести впечатление на своих кремлевских коллег! Вечером, зайдя навестить президента, Макмиллан заметил, что Эйзенхауэр «выглядит глубоко потрясенным», в отличие от де Голля, находившегося «в свойственном ему циническом настроении». Его, заметил он, совершенно не удивляет «такое окончание дела». Макмиллан со слезами на глазах принялся уговаривать коллег позволить ему попытаться спасти саммит. Его срыв будет означать «поражение или почти поражение» политики, которую вел Макмиллан последние несколько лет. «Невозможно описать этот день, — записывал он тем же вечером у себя в дневнике. — Это самый трагический день в моей жизни». В половине десятого он поехал в советское посольство — и застал Хрущева в самом радужном расположении духа: тот оживленно болтал о том, как поймал Эйзенхауэра «на месте преступления» и убедился, что тот царствует, но не правит. Хрущев был «вежлив, но совершенно непоколебим»; Малиновский «даже не моргал»; Громыко тоже «хранил молчание». Покидая посольство, Макмиллан проворчал: «Может быть, русские и умеют делать спутники, но вот более простым вещам явно еще не научились»⁸⁵.

Западные лидеры все же назначили второе заседание — без особой надежды на продолжение саммита, просто для того, чтобы полностью переложить ответственность за его срыв на Хрущева. Сам он тем временем наслаждался жизнью. На следующее утро он и Малиновский в сопровождении орды журналистов отправились полюбоваться французской глубинкой. По дороге на поле битвы при Марне Хрущев остановился, чтобы «помочь» команде дорожных рабочих распилить и убрать упавшее поперек дороги дерево. Затем они заехали в деревню Плер-сюр-Марн, где был расквартирован Малиновский во время Первой мировой войны, будучи простым солдатом. Весть о том, что Хрущев, по словам Макмиллана, «с наслаждением ораторствует везде, где хоть несколько крестьян собираются его послушать», «не улучшила настроения моих коллег». В ожидании, пока Хрущев ответит на письменные предложения касательно второго заседания, де Голль возмущенно говорил: «Он, пожалуй, теперь целую неделю будет разъезжать по стране и трезвонить во все концы». Поведение Хрущева «показало, какой он негодяй», мрачно добавлял Эйзенхауэр. Настало время «укоротить ему хвост»⁸⁶.

Наконец помощник советского лидера сообщил, что Хрущев отказывается от дальнейших встреч. «Скажите ему, — ледяным тоном ответил де Голль, — что у цивилизованных людей принято отвечать на письменные предложения в письменном виде»⁸⁷. Несколько минут спустя советский представитель сообщил, что Хрущев напишет ответ, но не будет появляться на заседаниях, пока американцы не выполнят его предварительных условий. Возможно, Хрущев все еще надеялся, что Эйзенхауэр сделает шаг к примирению. «Кто же должен был взять на себя инициативу? — спрашивал он в своей речи после возвращения в Москву. — Любому ясно, что тот, кто разорвал добрые отношения, начавшие складываться между двумя нашими странами. Нет, он ждал, что я начну его просить о встрече!»⁸⁸

Перед отъездом из Парижа Хрущев провел в Пале де Шайо пресс-конференцию перед почти тремя тысячами журналистов, которая длилась два с половиной часа. Стоя между серолицым Громыко и мрачным густобровым Малиновским, Хрущев, по выражению Трояновского, «полностью потерял самообладание». В ответ на крики и свистки, по его мнению, исходившие от западногерманских журналистов, он, потрясая кулаками, разразился гневной речью: «Если остатки недобитых фашистских захватчиков будут “укаль” против нас, как это делали гитлеровские разбойники... то мы так их “уکنем”, что они костей своих не соберут». Когда за этим последовало еще большее возмущение в зале (которое «Правда» описывала так: *«Бурные аплодисменты. Возгласы: “Правильно! Да здравствует мир!” и отдельные неодобрительные выкрики»*), Хрущев напомнил слушателям, с кем они имеют дело: «Я являюсь представителем великого советского народа, который под руководством Ленина, под руководством Коммунистической партии совершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию...» Еще больше выкриков и свистков. Снова Хрущев: «Меня радуют эти злобные выкрики, потому что они свидетельствуют о ярости врагов нашего святого дела».

«Я хорошо помню свою мать, — добавил он вдруг, — своего отца, который работал на руднике. Мать редко имела возможность покупать сметану. Но когда случалось, что у нас на столе была сметана, а кот иной раз слизывал эту сметану, то она брала кота за уши, трепала его, потом тыкала носом в остатки сметаны, затем еще трепала и опять носом тыкала. Так обучали кота, который залез туда, куда не позволено»⁸⁹.

Впрочем, выступление Хрущева не было таким от начала до конца. По крайней мере на одного репортера он произвел впечатление «добродушного человека с чувством юмора» да и закончил не угрозами войны, а призывами к миру⁹⁰. В сущности, учитывая обстоятельства, он держался очень неплохо — и лишь потом, на встрече с восточноевропейскими послами, позволил гневу и обиде прорваться наружу.

По просьбе польского посла во Франции Станислава Гаевского в советском посольстве был организован прием для посланников восточноевропейских стран. В роскошный зал, блистающий позолотой, красными коврами и кожаными диванами, вошел Хрушев в сопровождении Громыко и Малиновского — раскрасневшийся и чрезвычайно воодушевленный. Заказав себе и своим спутникам по рюмке коньяку, он рассказал такой анекдот. В царское время гарнизонные офицеры, снедаемые невыносимой скукой, развлекались необычными «концертами»: напившись до невменяемости, они вызывали к себе солдата, и командир гарнизона пинал его под зад, заставляя пукать в ритме «Боже, царя храни». Но однажды, когда командир давал «концерт» для гостей из соседнего гарнизона, у солдата ничего не получалось. Он очень старался, и наконец, продолжал Хрушев, «не смог больше сдерживаться: “Ну вот, хотел пернуть, а вместо этого обоссался!” — воскликнул он. Вот так и с Эйзенхауэром случилось. Хотел пернуть, а сам обоссался. Так, дорогие товарищи, и доложите вашим правительствам».

Хохотали все, кроме Громыко, — тот, как обычно, сидел с непроницаемым лицом. А правда, поинтересовался Хрушев у своего министра иностранных дел, что как раз сейчас (было восемь вечера) англичане надевают вечерние костюмы и садятся ужинать? Громыко смущенно кивнул.

— Значит, Макмиллан сейчас ужинает в смокинге или в вечернем костюме, — заключил Хрушев. — А давайте пригласим его сюда прямо сейчас! Сколько времени уйдет на то, чтобы доставить его сюда? — уточнил он у советского посла Владимира Виноградова. Около получаса, ответил тот. — Тогда позвоните ему и вызовите сюда, — потребовал Хрушев. — Скажите, что я хочу с ним поговорить — именно здесь и именно сегодня вечером, и чтобы был здесь не позже чем через сорок минут. Особенно подчеркните время: хочу посмотреть, как он примчится, роняя на смокинг крошки омлета.

Смущенный Громыко наклонился к уху босса и что-то

ему прошептал. Хрущев, раскрасневшийся, с бесовским огнем в маленьких глазках, разразился хохотом. «Андрей Андреевич недоволен, что я такое говорю при вас, — объявил он. — А почему бы и нет? У меня нет секретов от союзников»⁹¹.

По-видимому, Хрущев скоро передумал звать на прием Макмиллана — по крайней мере, никаких следов этой встречи история не сохранила. Однако, как говорится, важно намерение, — а намерение в данном случае весьма красноречиво. Добраться до Эйзенхауэра Хрущев не мог и потому решил выместить свой гнев и свое унижение на элегантном, но уязвимом Макмиллане, заставив его пережить те же эмоции.

Посол Гаевский был настолько поражен, что в беседе с репортером «Нью-Йорк таймс» С. Л. Сульцбергером не удержался от замечания, что Хрущев «несколько неуравновешен». Западногерманский канцлер Аденауэр в интервью тому же корреспонденту выразился резче и прямее: «Хрущев с ума сошел»⁹². Американский посол в Великобритании Джон Хей Уитни заметил, что Хрущев в Париже вел себя «как сварливая женщина»⁹³. Довольны были только китайцы. Они давно предупреждали, что «американским империалистам» верить не стоит, и теперь надеялись (как заявляли в письме в Москву в 1963 году), что «товарищи, столь громко возносившие хвалы так называемому духу Кемп-Дэвида, усвоят этот урок...»⁹⁴. Восточная Германия напряженно ждала, что будет дальше. На обратном пути из Парижа, заехав в Восточный Берлин, Хрущев произнес речь в Зееленбиндер-Холле перед десятью тысячами немецких коммунистов. Многие из них ожидали, что теперь-то будет произнесено предложение, перед которым трепетал Запад — о заключении с ГДР сепаратного мирного договора, который положит конец правам западных держав на Берлин. «Американский президент меня предал! — кричал Хрущев. — Да-да, предал!» Однако заключение договора снова было отложено. «Мы хотели бы верить, — заметил Хрущев, — что через шесть—восемь месяцев совещание в верхах состоится. В этих условиях имеет смысл подождать еще немного... От нас это не уйдет. Подождем, лучше созреет»⁹⁵.

Кремлевские коллеги Хрущева также сомневались если не в его душевном здоровье, то по крайней мере в правильности его тактики. «Все, что я могу сказать, — говорил по этому поводу Шелепин, — шпионы всегда были и всегда будут. Так что ему следовало найти другое время и место, чтобы объяснить Эйзенхауэру, что он о нем думает»⁹⁶. Многие

советские дипломаты были недовольны и по другим причинам. Вместо того чтобы добиться хоть какого-то прогресса по неотложным вопросам, Хрущев порвал с Эйзенхауэром, разорвал (по крайней мере на какое-то время) отношения с Западной Германией, оттолкнул от себя восточногерманских интеллектуалов, надеявшихся на сближение с Западом, и подтолкнул Вальтера Ульбрихта к новым интригам вокруг Берлина⁹⁷.

По дороге в Москву в самолете Хрущева царил мрачное настроение. И, прилетев домой, он не бросился, как обычно, в Лужники докладывать о своих успехах советскому народу.

«Так нельзя было поступать с Эйзенхауэром, — рассказывает Микоян. — ...Из-за того, что наши ракеты случайно сбили У-2, Хрущев устроил непозволительную истерику... Он виновен в том, что отодвинул разрядку лет на пятнадцать...» Согласен с ним и Трояновский: «Хрущев превзошел самого себя, призывая гнев Божий на голову президента Эйзенхауэра». Трояновский сожалеет о том, что не попытался тактично отговорить босса от этой затеи. Позже Нина Петровна упрекала его и другого помощника Хрущева в том, что они не пытаются влиять на ее мужа: «Почему вы неправляете его? Если вы не будете обращать внимание на его оплошности, кто же тогда будет?»⁹⁸

Сам Хрущев тоже не был вполне доволен своим парижским выступлением; по свидетельству Сергея Хрущева, хотя в начале рассказа о том, какой переполох он устроил в Париже, глаза у отца возбужденно блестели, «скоро они приняли настороженное выражение, став из карих почти черными»⁹⁹. Возможно, именно поэтому в своих мемуарах он горячо настаивает, что принял верное решение: «Есть народная поговорка: “Дай коготкам увязнуть, весь влезешь в тину”. Если бы мы не проявили мужества и не встали на защиту своей чести тогда, следовательно, согласились бы с США в том, что их самолеты имеют право летать над закрытыми территориями любых государств»¹⁰⁰.

Такая бравада характерна для Хрущева. Надо отметить и то, что поиски разрядки были лишь одной стороной его внешней политики — стремясь к разоружению, он не переставал соревноваться с капиталистическими странами в экономике, осыпать Запад угрозами и «ставить на место» высокомерных западных лидеров. Однако летом 1960 года Хрущев испытывал заметное недовольство собой, проявлявшееся во многом — и в лихорадочной активности, и в мрач-

ном тоне, каким он говорил об Эйзенхауэре, но особенно — в поспешных и непродуманных действиях против Мао Цзэ-дуна, нанесших советско-китайским отношениям огромный и непоправимый ущерб.

Летнее расписание Хрущева включало в себя десять дней в Румынии (с 18 по 27 июня), девять в Австрии (с 30 июня по 8 июля) и три в Финляндии (со 2 по 4 сентября), а также инспекционную поездку по Астраханской области и визит в Калиновку, которую он в 1959 году как-то ухитрился объехать. Везде он хвастал прогрессом во внутренних и внешних делах, однако в выступлениях его ясно слышались оборонительные нотки. Он отрицал, что его надежды на саммит были преувеличены. Объяснял, зачем вообще поехал в Париж («чтобы продемонстрировать свое самообладание»), почему не встретился с Эйзенхауэром наедине (по вине президента), почему до мая не подавал протестов по поводу американских полетов над СССР (потому что американцы хвастали, что русские не умеют сбивать их самолеты), почему по приезде в Москву не организовал обычную «встречу с народом» (потому что только что выступил перед немецкими коммунистами)¹⁰¹.

3 июня на пресс-конференции он произнес в адрес Эйзенхауэра такую диатрибу: если после отставки ему понадобится работа, «мы могли бы нанять его директором детского сада. Я уверен, с детьми он плохо обращаться не будет». Об отмене визита президента США в СССР он сказал: «Нельзя, чтобы человек ел там же, где нагадил». На этой же пресс-конференции Хрущев сообщил, что после выборов президента надеется улучшить отношения с Америкой, однако вновь подтвердил, что намерен подписать сепаратный мирный договор с ГДР. «Ясно я говорю?» — поинтересовался он у четырех сотен корреспондентов.

«Возгласы: — Ясно!»

Н. С. Хрущев: — По-моему, тоже ясно. (*Оживление в зале.*) А если не ясно, еще повторим. Когда заключим мирный договор, тогда будет еще яснее»¹⁰².

9 июля на съезде учителей, рассказывая о недавней поездке в Австрию и о том, как католическая церковь настраивала против него верующих, Хрущев употребил слово «паства» с ударением на первом слоге — и тут же спросил аудиторию, правильно ли он произносит это слово. «Признаюсь, выступая перед вами, я все время волнуюсь, потому что знаю свои недостатки в произношении некоторых слов, ведь я нахожусь перед таким строгим судом... Не хочу на своих учителей сваливать ответственность. Мои учителя бы-

ли очень хорошие люди, особенно одна учительница, которую я никогда не забуду, — это Лидия Михайловна. Но, видимо, среда, в которой я жил, наложила свой отпечаток. Так все-таки па́ства или паствá?»¹⁰³

Помощники Хрущева немедленно разыскали учительницу и привезли ее в Москву на свидание с бывшим учеником. Хрущеву, должно быть, приятно было видеть, как ревностно приспешники стремятся ему угодить. Однако провал парижского саммита по-прежнему не давал ему покоя. В июне глава КГБ Шелепин порекомендовал Хрущеву длинный список грязных трюков, в том числе подделку документов, для дискредитации ЦРУ, Аллена Даллеса и самого президента Эйзенхауэра. Неизвестно, что из этого списка было реально выполнено и имел ли к нему какое-то касательство сам Хрущев. Однако резонно предположить, что и в этом случае подчиненные Хрущева стремились угадать его невысказанные желания¹⁰⁴.

Настроение Хрущева передалось и его зятю, редактору «Известий» Аджубею. Однажды в Австрии, чересчур много выпив, Аджубей принялся кричать на какого-то американца: «С вами, американцами, покончено, хотя вы и не желаете этого признавать. Мы вас раздавим вот так!» — и с этими словами раздавил в руке горлышко бутылки. Американец ответил на это, что Аджубей разговаривает как Гитлер; тот так разъярился, что соотечественники поспешили его увести. «Нет, нет, — кричал он, — я хочу сказать этому американцу все, что думаю о его правительстве! Оно состоит из идиотов, слабаков и предателей!»¹⁰⁵

О Мао и его людях Хрущев думал ненамного лучше. Провал саммита положил конец заигрываниям Москвы с Вашингтоном, что не могло не радовать китайцев. Сблизившись с Пекином, Хрущев доставил бы удовольствие тем в Москве, кто опасался «потерять Китай». Однако слишком быстрое и охотное сближение дало бы сторонникам Китая в Москве повод настаивать на возрождении дружеских отношений на таких условиях, которые для Хрущева были неприемлемы. Ситуация была непростая: необходимо было взвесить все возможности и сделать разумный, обдуманный выбор. Вместо этого Хрущев сорвал на Мао свой гнев, не задумываясь о последствиях.

20 июня в Бухаресте должен был открыться съезд Румынской коммунистической партии. 18-го Хрущев вдруг объявил, что намерен присутствовать на съезде. Его примеру последовали все лидеры «братских» компартий, кроме — красноречивый жест — Мао и его нового союзника албанца

Энвера Ходжи. Явившись на съезд, Хрущев поразил делегатов пламенным антикитайским выступлением.

В официальной речи Хрущев утверждал, что, несмотря на парижскую неудачу, стремится к мирному сосуществованию. Тем временем советская делегация распространила восьмидесятистраничное «Информационное послание», в котором жестко критиковалась внешнеполитическая позиция Китая. Пэн Чжэнь, глава китайской делегации, заявил, что считает это послание крайне оскорбительным; в то же время он сам пустил в оборот советское послание ЦК КПК, не подлежащее огласке. По словам одного западного корреспондента, видевшего это частное письмо, оно «источало желчь, охватывало широкий круг вопросов и состояло из слабо связанных между собой тематических отрывков, чем весьма напоминало речи самого Хрущева»¹⁰⁶.

Возможно, Хрущев надеялся поразить китайцев, однако тот факт, что они сделали достоянием гласности частное письмо, поразил его самого. На заключительном заседании съезда он отшвырнул заготовленную речь и разразился яростной филиппикой. Согласно одному из отчетов, он критиковал лично Мао за то, что тот «не считается ни с чьими интересами, кроме своих собственных, и выдумывает теории, оторванные от реалий современного мира». По другим сообщениям, он называл Мао «Буддой, который сидит и высасывает теории из пальца», а также «старой калошей»¹⁰⁷.

Пламенное выступление Хрущева, весьма напоминающее парижскую пресс-конференцию, вызвало резкий ответ Пэна, насмешливо заявившего, что во внешней политике Хрущева кидает то в жар, то в холод. Возмущенный Хрущев «отомстил» — на следующий же день отозвал из Китая всех советских советников. По заявлению Пекина, Москва отозвала 1390 экспертов, разорвала 343 контракта, подвесила 257 научно-технических проектов — и все это «за какой-то месяц»¹⁰⁸. Помимо экономического урона (в 1961 году объем советско-китайской торговли уменьшился более чем наполовину, а в 1962-м советский экспорт в Китай составлял лишь четверть от объема 1959 года¹⁰⁹), необдуманный ход Хрущева лишил Москву бесценных разведданных, получаемых от советских экспертов.

Советский посол в Китае Степан Червоненко был «изумлен» этой новостью и попытался предпринять некоторые шаги, чтобы предотвратить отзыв экспертов. «Мы отправили телеграмму в Москву. Писали, что это нарушение международных конвенций. Если мы решили прекратить помощь Китаю, то надо хотя бы дать советникам доработать до окон-

чания контрактов. Мы надеялись, что тем временем все как-нибудь уладится»¹¹⁰. Ошибку Москвы Червоненко приписывал импульсивности Хрущева. По-видимому, так же отнесся к этому решению и Брежнев, бывший помощник которого Александров-Агентов относит начало раскола между Хрущевым и его протеже к серии «импульсивных внешнеполитических решений, нанесших ущерб нашей собственной стране. Достаточно вспомнить неожиданный отзыв из Китая наших не только военных, но и экономических советников — и это несмотря на существующие соглашения и контракты»¹¹¹.

Бывший работник ЦК Лев Делюсин рассказывает, как было принято это решение. Он слышал, что начальство подумывает об отзыве экспертов, и полагал, что убедил Юрия Андропова, ответственного за отношения с братскими компартиями, в серьезной ошибочности такого шага. Андропов поручил Делюсину подготовить об этом служебную записку. Однако, рассказывает Делюсин, не успел он сесть за работу, как «мы получили из секретариата Хрущева звонок о том, что он уже подписал указ об отзыве. Думаю, это была одна из серьезнейших ошибок Хрущева. Разумеется, это привело к дальнейшему ухудшению отношений. Неужели он полагал, что от этого что-то изменится к лучшему?»¹¹².

В сущности, Москва и Пекин все же сделали шаг к перемирию до ноября 1960 года, когда в Москве, на Совещании коммунистических и рабочих партий, куда съехались со всего мира представители восьмидесяти одной компартии, после резкого обмена репликами была подготовлена и подписана обеими сторонами компромиссная декларация¹¹³. Однако, по замечанию переводчика Мао Ян Минфу, «это было лишь временное перемирие. В сущности, события уже вышли из-под контроля»¹¹⁴.

После Парижа Хрущев заявлял, что для возобновления переговоров на высшем уровне должно пройти шесть — восемь месяцев. Его предположение, что наследник Эйзенхауэра немедленно после выборов (в ноябре) или инаугурации (в январе) согласится вести с ним переговоры, было, конечно, чересчур оптимистично. А тем временем в начале июня Хрущев начал обдумывать возможность посетить Генеральную ассамблею ООН. К середине июля он твердо решил ехать, а 10 августа об этом было сделано официальное заявление. Декларируемой целью Хрущева была поддержка излюбленных им тем — разоружения и деколонизации. Но были, по свидетельству его сына, и более личные мотивы: «взять реванш за про-

ишедшее в Париже» — заставить западных лидеров против их воли оказаться с ним за столом переговоров, разоблачить перед целым светом Соединенные Штаты и их президента, предложить перенести штаб-квартиру ООН. По Трояновскому, Хрущев больше всего мечтал «появиться непрошеным гостем при дворе “князя тьмы”, каким он стал представлять себе Эйзенхауэра, и тем самым унижить его»¹¹⁵.

Осторожный Громыко предупреждал, что другие главы государств останутся дома и компанию Хрущеву в Нью-Йорке будут составлять только лидеры коммунистических стран-союзниц. Поэтому, когда другие лидеры последовали его примеру, Хрущев, по воспоминаниям сына, «ликовал», а когда американцы объявили, что членам советской делегации не будет разрешено покидать Манхэттен без позволения принимающей стороны, он «так и рвался в бой»¹¹⁶.

Хрущев решил отправиться в Нью-Йорк по морю. Он мечтал появиться в Америке, как первые поселенцы, о которых он читал в юности, а кроме того, хотел избежать остановок для дозаправки (поскольку Ту-114, на котором он летал в США, находился в ремонте). Однако радостное предвкушение поездки чередовалось с минутами подавленности: по словам Сергея Хрущева, «отец начал все чаще заговаривать о смерти». Вслух он беспокоился о том, что «страны НАТО предпримут какие-либо диверсионные акции против нашего корабля»¹¹⁷, однако в глубине души, возможно, боялся и того, что его поездка станет лишь слабой заменой того дипломатического триумфа, от которого он отказался в Париже.

Вечером 9 сентября, в сопровождении руководителей Венгрии, Румынии, Болгарии, а также Украины и Белоруссии (на включении которых в ООН как независимых государств настоял в 1945 году Сталин), Хрущев отплыл с военно-морской базы в Балтийске близ Калининграда. Его корабль, изготовленный в 1940 году по немецкому заказу на верфях Амстердама, первоначально назывался «Балтика»; после войны он был получен СССР в качестве репарации и переименован в «Вячеслава Молотова», но после разоблачения «антипартийной» группы вновь получил свое исконное имя¹¹⁸. В воспоминаниях Хрущева о его первом и единственном путешествии через океан возбуждение мешается с тревогой: тревога — от размышлений о том, как примут его американцы, возбуждение — от удовольствия сочетать полезное (чтение документов и консультации с восточноевропейскими лидерами) с приятным (нескончаемые шутки над теми, кто, в отличие от самого Хрущева, страдал морской

болезнью), а также от «особого чувства», связанного с тем, что «воды там видимо-невидимо»¹¹⁹.

Помощники и эксперты¹²⁰ по очереди читали Хрущеву донесения разведки. Дмитрий Горюнов, один из помощников Хрущева, вспоминает, что «на корабле он был очень спокоен, хотя вообще он человек очень импульсивный»¹²¹. Зато Громыко пришел в ужас, когда Хрущев надиктовал ему ремарки, обостряющие выступления, подготовленные для него в Москве Министерством иностранных дел: «Резче отметить односторонность действий аппарата ООН... Стоит подумать, чтобы ООН перенести (штаб-квартиру) в Швейцарию, в Австралию или в СССР... В ответ на ноту США... надо действовать наоборот: в зубы дал и сказать извините, я этого не хотел сделать, но войдите в мое положение, я был вынужден это сделать, потому что вы зубы подставили...»¹²²

В течение долгого путешествия Хрущев часто общался с моряками, развлекая их шутками и разными историями. Другие восточноевропейские лидеры вечерами играли в карты в баре, но он предпочитал смотреть кино, хотя иногда выпивал вместе с ними. Самодеятельное представление, подготовленное командой корабля, они смотрели вместе. Днем, когда старшие члены делегаций, страдавшие от морской болезни, сидели по своим каютам, а младшие чиновники ухаживали за официантками и машинистками, Хрущев любил проводить время с молодыми дипломатами — например, с Аркадием Шевченко. В разговорах с ним он жаловался на свое незнание западной литературы, однако шутливо замечал, что, прежде чем учить иностранные языки, «ему бы русским как следует овладеть». Когда заходила речь о лидерах западных держав, Хрущев выражал уверенность, что с помощью пропагандистских заявлений о всеобщем и полном разоружении сумеет добиться того, чтобы западные лидеры смягчили свои позиции в отношении ограничения вооружений. «Всякому овощу свое время», — добродушно замечал он¹²³.

19 сентября «Балтика» бросила якорь в порту Нью-Йорка. Какое отличие от триумфального прибытия Хрущева в Америку год назад! Теперь на американской земле Хрущева встречала демонстрация профсоюза портовых грузчиков с плакатами типа: *«Холодно осенью, летом жара, Сталин подох — тебе тоже пора!»*

«Было множество ряженных людей, в разных цветных костюмах, — вспоминал Хрущев, — с плакатами и лозунгами. Они что-то выкрикивали в репродукторы... Мы все высыпали на палубу, смотрели на чучела и смеялись. Для нас это было чем-то вроде шутовского карнавала»¹²⁴.

Чем дальше, тем хуже. Для советского корабля отвели док номер 73 — старый, полуразрушенный ангар на Ист-Ривер. Корреспондент «Правды» Геннадий Васильев отправил в редакцию отчет о прибытии заблаговременно, еще в море: в его репортаже с безоблачного неба ярко светило солнце, на берегу Хрущева встречали радостные толпы, со всех сторон летели цветы и добрые пожелания. На самом же деле было пасмурно, дождь лил как из ведра, и на причале, кроме советских официальных лиц с семьями, журналистов, полиции и охраны, «встречали» русских только венгерские эмигранты. Профсоюз портовых грузчиков бойкотировал «Балтику», и дипломатам пришлось самим разгружать свой багаж.

Шевченко полагал, что в таком приеме следует винить советских послов в США и в ООН, слишком буквально понявших приказ «не тратить народные деньги на шикарный пирс». В действительности этот приказ отдал сам Хрущев. Теперь он был уверен, что «некоторые американцы иронизировали над русскими», однако понимал, что «виноватого искать было нечего, это я сам был виноват».

Хрущев гордо сошел с корабля, твердо ступил на толстый восточный ковер, впитывавший дождь, как огромная губка, и поинтересовался, не желает ли президент Эйзенхауэр присоединиться к нему на импровизированном саммите в ООН. Васильев успел позвонить в Москву и убрать из своего репортажа безоблачное небо и сияющее солнце, однако ликующие толпы остались¹²⁵.

Хрущев пробыл в Нью-Йорке до 13 октября и улетел в Москву на самолете. В общей сложности он отсутствовал в Кремле более месяца — даже по его стандартам срок немалый. Очевидно, на родной земле Хрущев чувствовал себя вполне уверенно и не боялся оставлять коллег без присмотра. Однако из-за одержимости своей миссией он задержался в США намного дольше необходимого.

В Нью-Йорке Хрущев занялся лихорадочной деятельностью. В ООН он произнес несколько речей и активно участвовал в дебатах. За стенами ООН — в Манхэттене и в резиденции советского посольства в Глен-Коуве, Лонг-Айленд — в любое время дня и ночи проводил бесчисленные пресс-конференции. Он встречался с мировыми лидерами, ораторствовал на официальных обедах и ужинах, появился в телешоу Дэвида Сасскинда и произвел переполох, когда, не сообщив полиции и охране (видимо, желая доказать, что имеет право ходить куда хочет без разрешения), отправился в Гарлем встретиться с Фиделем Кастро, с которым обни-

мался в переполненном холле отеля «Тереза». Стоя на балконе второго этажа здания советского посольства на пересечении Парк-авеню и Шестьдесят Восьмой стрит, он распевал перед журналистами «Интернационал». Когда кто-то из репортеров предупредил, что в белой рубашке на фоне красной стены Хрущев представляет собой соблазнительную мишень — тот расправил плечи, выпятил челюсть и, сжав кулак, продемонстрировал апперкот куда-то в сторону неба¹²⁶.

Советская пресса, разумеется, описывала эти события (по крайней мере большую часть) как победу. То же утверждал по возвращении и сам Хрущев. «Он считал себя победителем», — замечает его сын, добавляя, что заседание ООН «вознаградило его за срыв парижского саммита»¹²⁷. Однако поведение Хрущева в Нью-Йорке было не просто непредсказуемым и экстравагантным: оно не лезло ни в какие ворота. Протестуя против речи Генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда, он начал стучать кулаком по столу и стучал до тех пор, пока к нему не присоединились сперва (после заметного колебания) Громыко, потом другие члены его делегации, а затем и делегации других коммунистических стран. Когда британский премьер-министр Макмиллан публично выразил сожаление о срыве парижского саммита, Хрущев вскочил на ноги и закричал: «Это вы посылали на нашу территорию самолеты, это вы — агрессоры!» — и снова начал махать руками и стучать кулаком по столу. Обернувшись к председателю собрания, ирландцу Фредерику Х. Боланду, Макмиллан заметил, что, если господин Хрущев будет продолжать в том же духе, он хотел бы услышать перевод. Боланд призвал Хрущева к порядку, и советский руководитель успокоился — по крайней мере, на день.

11 октября, произнеся речь перед ассамблеей и возвращаясь на свое место, Хрущев заметил, что испанцы ему не аплодируют. Он бросился к ним, начал тыкать пальцем в лицо молодому испанскому делегату, поливать его бранью по-русски и, кажется, уже готов был броситься на него с кулаками. Только приближение охраны заставило Хрущева сесть на место.

Самый знаменитый инцидент — происшествие с пресловутым ботинком — имел место в последний полный день Хрущева в Нью-Йорке. Делегат от Филиппин обернул разговор о деколонизации против самого Хрущева, заявив, что Восточная Европа «лишена политических и гражданских прав» и «поглощена Советским Союзом». Сперва советский лидер колотил по столу обоими кулаками, а затем снял правый ботинок (точнее, башмак или сандалию, поправляет его

сын, замечая, что отец терпеть не мог завязывать шнурки), угрожающе помахал им в воздухе и начал колотить по столу, все громче и громче, пока наконец все взгляды в зале не устремились на него и в публике не послышался изумленный шум¹²⁸. У Громыко, сидевшего с Хрущевым рядом, на лице отражалось настоящее страдание. Наконец, «с гримасой решимости» и видом человека, «готового прыгнуть в ледяную воду», министр иностранных дел снял свой ботинок и принялся легонько постукивать им по столу, словно надеялся, что его босс это заметит, а все остальные — нет¹²⁹.

Сам Хрущев был в восторге от устроенного им представления. Узнав, что Трояновский при этом не присутствовал, он заметил: «Вы очень много потеряли! Это была такая умор! Ведь ООН — это своего рода международный парламент, где меньшинство должно подавать голос разными путями. Пока что мы в меньшинстве. Но ненадолго». Но другие отнеслись к этой выходке без всякого энтузиазма. Первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Кирилл Мазуров деликатно определил ее как «не совсем уместную». В советском посольстве, по рассказу Шевченко, в тот вечер «все были смущены и расстроены». У строгого и бесстрастного Громыко «губы побелели от волнения. Но Хрущев вел себя, как будто ровно ничего не произошло: громко смеялся, шутил и говорил, что нужно было “добавить жизни в чопорную атмосферу ООН”»¹³⁰.

В тот же вечер за ужином венгерский лидер Янош Кадар, известный своей ироничностью, деликатно дал понять Хрущеву, что недоволен его поведением: «Товарищ Хрущев, помните, вчера, после того как вы стучали ботинком по столу, вам пришлось выйти к трибуне?.. Так в этот момент наш министр иностранных дел товарищ Шик повернулся ко мне и спросил: “Как вы думаете, он успел надеть обратно ботинок или же пошел босиком?”» «Многие из сидевших за столом начали хихикать, — пишет Трояновский. — У меня было чувство, что в этот момент наш лидер, может быть, понял, что зашел слишком далеко»¹³¹.

Если верить сыну Хрущева, эта выходка, ужаснувшая его собственную делегацию, выходка, которую припомнили ему соперники четыре года спустя¹³² и за которую многие русские до сих пор поминают Хрущева недобрым словом, была заранее продуманным жестом, который Хрущев почерпнул из отчетов о предреволюционной Думе; он будто бы полагал, что в западных парламентах так делается и по сей день¹³³. Однако трудно сомневаться, что в этом, как в зеркале, отразилась его растущая досада — ведь добиться постав-

ленных перед собой целей Хрущев так и не смог. Он был доволен, когда Генеральная ассамблея согласилась обсудить деколонизацию, однако пришел в ярость, когда она подавляющим большинством голосов постановила передать вопрос о разоружении одному из мелких политических комитетов. Он нервно следил за событиями в Конго (где в это время советский ставленник Патрис Лумумба отбивался от прозападных соперников Моиса Чомбе и Жозефа Мобуту) и был очень недоволен позицией ООН по этому вопросу. «Плевал я на ООН! — возмущался он на борту «Балтики», когда Трояновский зачитал ему очередные дурные вести из Конго. — Это не наша организация. Этот никчемный Хам [от «Хаммаршельд»] сует нос в важные дела, которые его не касаются... Ну, мы ему покажем!»¹³⁴

Хрущев потребовал замены Генерального секретаря исполнительным комитетом из трех членов — представителей капиталистического мира, социалистического лагеря и нейтральных стран, — а также переноса штаб-квартиры ООН в Европу: в Швейцарию, Австрию или даже в СССР¹³⁵. Эти сумасбродные проекты подрывали сами основы Организации Объединенных Наций и противоречили принятой в СССР политике по отношению к ООН, согласно которой Советский Союз отвергал любые попытки пересмотра ее конституционных основ. Реформам воспротивились не только большинство членов ООН, но и собственная делегация Хрущева. «Вдруг Хрущев начал настаивать на “тройке”, — вспоминал Георгий Корниенко, работавший в то время в Министерстве иностранных дел. — Это была его собственная идея. По сути, идея провальная, абсолютно нереалистическая, и многие из нас уже тогда это понимали. Еще одна из его навязчивых идей, странных и непонятных с точки зрения здравого смысла»¹³⁶.

Сессия Генеральной ассамблеи продолжалась, но Хрущеву казалось, что «мое пребывание в Нью-Йорке затянулось»¹³⁷. В частных беседах с Макмилланом он выглядел подавленным, продолжал сердиться на Эйзенхауэра, заявлял, что его урезанный рабочий день доказывает: «американцы прекрасно могут обойтись вообще без президента»¹³⁸. 26 сентября на обеде с американскими бизнесменами Хрущев повторил вопросы, которые, по его словам, уже задавали ему другие: зачем он приехал? Стоило ли это делать? «Думаю, стоило», — был ответ Хрущева¹³⁹. 7 октября на пресс-конференции ООН, получив тот же вопрос, он раздраженно ответил: «Те, кто считает, что наши усилия потрачены впустую, не понимают, что происходит»¹⁴⁰. 20 октября, уже в Москве,

начал свою «приветственную речь» такими словами: «Если спросить — стоило ли ехать в Нью-Йорк на эту сессию, — то можно сказать без всяких оговорок: не только стоило, но и необходимо было ехать». И далее добавил: «Мы старались с честью и достоинством представлять интересы Советского Союза. Времени напрасно мы не тратили, хорошо понимая, что ехали в Нью-Йорк не к теще на блины, а работать. *(Оживление в зале. Аплодисменты.)*»¹⁴¹

Работа, честь, достоинство... Что ж, одно можно сказать точно — работы хватало. Чем дольше Хрущев оставался в Нью-Йорке, тем больше покушений на свое достоинство ему приходилось отражать. В ответ на обвинение в интервенции в Венгрию и невыполнении собственных предложений о разоружении он заявил: «Мы не боимся таких вопросов. Мы белых побили, а вы хотите нас запугать какими-то громкими словами. Нет, господа, кишка у вас тонка»¹⁴². На телешоу Дэвида Сасскинда Хрущев выглядел усталым, а сам ведущий, отнюдь не интеллигент-тяжеловес (до создания собственного шоу он был театральным продюсером), не раз перебивал его и ставил в тупик ядовитыми вопросами и замечаниями. «Не торопитесь так, — проворчал наконец Хрущев. — Вы, конечно, человек молодой, а я уже не молод, однако я вам не уступлю...» Когда Сасскинд заметил, что его гость «воет на луну», Хрущев возразил: «Воет? У вас в стране считается, что так говорить вежливо? У нас, знаете ли, это грубость. Я вам, молодой человек, в отцы гожусь, и недостойно с вашей стороны так со мной разговаривать. Я никому не позволю так к себе относиться. Я сюда не лаяться приехал. Я председатель Совета министров величайшей социалистической страны в мире. Так что будьте любезны проявлять ко мне уважение...»¹⁴³

Однако особого уважения Нью-Йорк к своему гостю не проявлял — скорее, глазел на него как на диковинку. «Кто бы ни присутствовал на встрече, — замечал один обозреватель, — все смотрят только на господина Х. Стоит показаться в дверях его приземистой фигуре с энергичной походкой и широкой улыбкой на устах — к нему сразу устремляется толпа любопытных»¹⁴⁴. Все в Нью-Йорке раздражало Хрущева. В обычных прогулках по соображениям безопасности ему было отказано, и он «бродил туда-сюда, как тигр в клетке», и глотал свежий воздух на маленьком балкончике¹⁴⁵. По ночам не давал спать «беспрерывный треск» полицейских мотоциклов. «Сплошная артиллерийская канонада. Цилиндры у дежурных мотоциклов были охлаждены, и, когда их заводили, начинались выстрелы с выхлопами, как будто

рвутся снаряды, и все у меня прямо под окном. Тут, как бы ни хотелось уснуть и каким бы уставшим ни был, спать невозможно. Я просыпался и валялся на кровати в ожидании, пока вернется сон».

Даже переселение в роскошный особняк в Глен-Коув, квазианглийский замок под названием Кенилворт, прежде принадлежавший Гарольду Прэтту, а затем приобретенный семьей Рокфеллеров, не принесло ему облегчения. Погода стояла по большей части теплая и ясная, однако и на идиллических лужайках Кенилворта «не раз слышались свистки и автомобильные сигналы», выражающие «недовольство в связи с нашим пребыванием в Америке»¹⁴⁶.

Нервное напряжение Хрущева проявлялось отчасти и на публике, но в большой мере за закрытыми дверями. Мохамеду Хейкалу, египетскому журналисту, хорошо знавшему Хрущева, показалось, что «в Нью-Йорке он был в необычном для себя настроении». Хрущев дважды встречался с Насером, один раз в Манхэттене, другой — в Глен-Коув, однако «встречи прошли неудовлетворительно, большая часть времени была потрачена на пережевывание старых споров»¹⁴⁷.

Насер и другие руководители стран третьего мира составляли естественную «партию Хрущева» в ООН. Хотя тот и был недоволен тем, что их поддержка не привела к должному результату, с ними ему приходилось сдерживать свой гнев. Однако с собственным министром иностранных дел он не считал нужным сдерживаться. Однажды в советском посольстве Хрущев сидел за столом между Громыко и представителем СССР в ООН Валерианом Зориным. «Кто из вас министр иностранных дел?» — поинтересовался Хрущев. «Андрей Андреевич, конечно», — удивленно отозвался Зорин. «Ну нет! — проворчал Хрущев. — Дерьмо он, а не министр иностранных дел!»¹⁴⁸

Так отплатил Хрущев Громыко за его преданность и многолетнюю верную службу.